

Известия
25.11.2005
27.11.2005
С 25, 40

РЕЖИССЕР

Кама Гинкас: «Я редко ободряюсь, редко радуюсь»

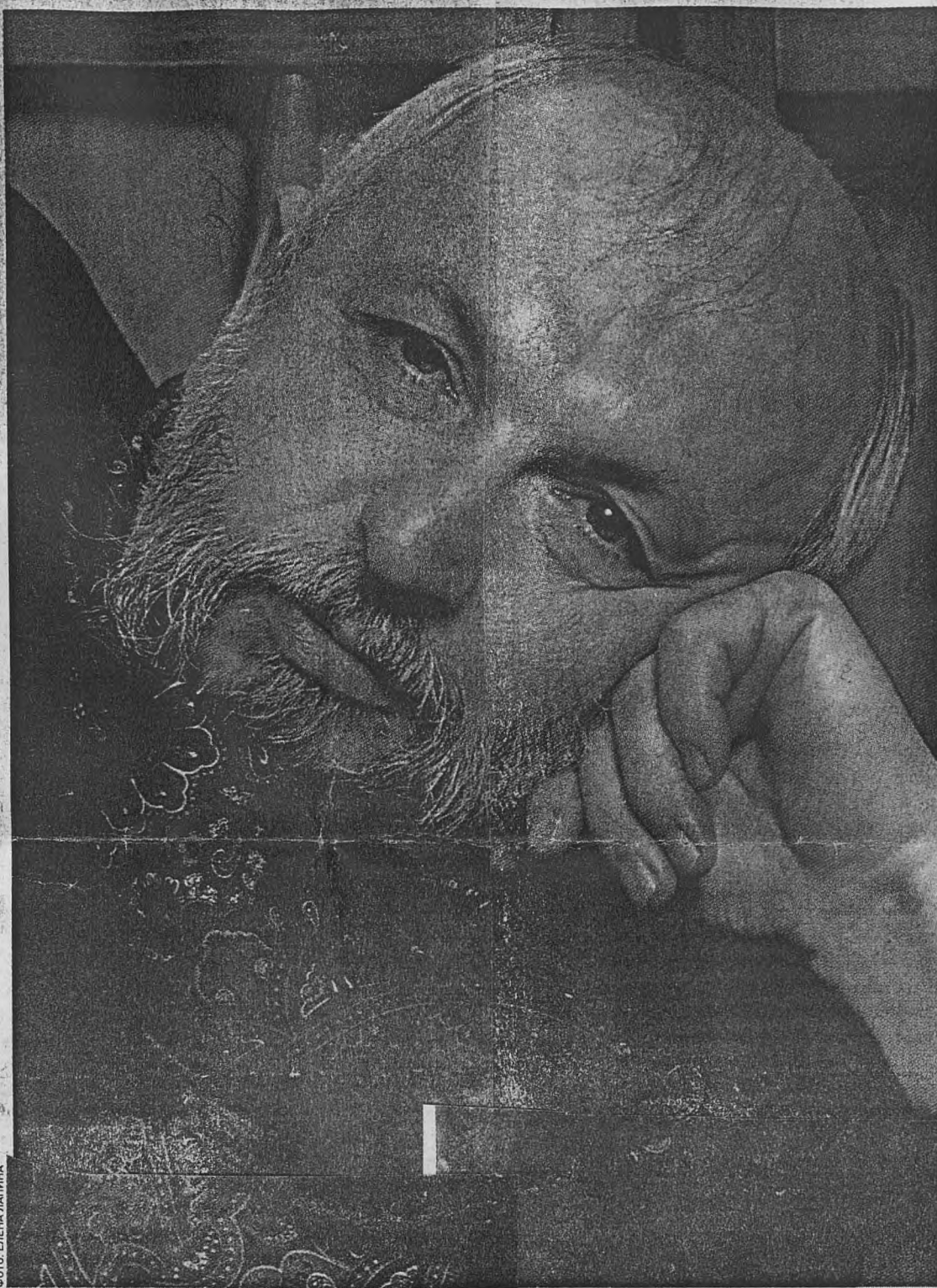


ФОТО ЕЛЕНА ЛАГИНА

В:
«Вы бы хотели
обладать таким же
характером, какой
был у Товстоногова?»

О:
«Хочется быть
любимым — а такого
человека не любят,
хочется быть добрым
— а такой человек
не добр»

же. Конечно, все жизненные тяготы, во многом из-за моего характера, моей нетерпимости, как профессиональной, так и человеческой, дожились в первую очередь на Гету.

С тем, с чем ей приходилось считаться, я не считался. Я никогда не был ни у кого вторым режиссером, а она — была... Я хоть и сподобился пойти руководить самостоятельностью, но это был очень долгий процесс — пока я понял, что это сделать необходимо просто для выживания.

Я ставлю «Насмешливое мое счастье», она беременная, приходит ко мне на репетиции. Я уезжаю в Красноярск руководить театром, она оставляет ребенка, приезжает мне помочь. И незаметно становится неофициальным соруководителем театра. В первые же дни ее приезда происходит самоу-

бийство актрисы, психически неуравновешенной девушки. И когда надо ехать в морг, чтобы опознать тело, то кто едет? Не я. Едет двадцатидесятилетняя Генриетта Наумовна, только что родившая ребенка, лишь три дня назад приехавшая в Красноярск.

Другая история. Когда в 80-м году по сфабрикованному делу арестовали нашего друга Костю Азадовского и сослали его на Колыму, мы пошли проводить его мать. Она жила на пятом этаже, дом был без лифта. Мы зашли в подъезд. Лестница — ленинградская — черная. Был вечер. Генриетта Наумовна сказала мне: «Знаешь, ты постой, пойду я». Я не возражал. Я был ей очень благодарен, поскольку мне казалось, что на каждом этаже там стоит гбэшник.

Известия: Вот прочитаете это интервью женщины и скажут: «Не мужской поступок — послал жену в опасное место, а сам ожидал ее».

Гинкас: Я не послал, но я согласился. Это правда... А когда надо было посетить невесту этого Кости, которая села в тюрьму из-за него, Генриетта Наумовна нашла способ, как познаться с надзирательницей женской тюрьмы, привела ее к нам домой, утешала, разговаривала о детях, о мужчинах, о театре, о жизни. И договорилась с ней нелегально посетить напу подругу. И посетила ее.

Известия: Вам повезло.

Гинкас: Этому Гинкасу повезло, — говорила сестра Товстоногова, Нателла Александровна про наш с Гетой союз. И это правда.

Вслед этому можно вспомнить еще несколько показательных историй. Как-то в Ленинграде, еще студентами, мы ехали в переполненном автобусе. И какой-то мужик назвал меня жидовской мордой. Я не успелотреагировать, как Гета сорвала

с него шапку. Мужик повернулся к ней, и она, повторяя: «Ты сказал — жидовская морда?» — ударила ему в рыло кулаком с перстнем.

Или история, произошедшая в Новгороде, где мы оказались проездом. Вышли из ресторана и видим, что двое молодых людей бьют третьего — чудовищно, в кровь. Мы с приятелем начинаем осуждать дерущихся, а Гета в эту секунду оказывается между ними и начинает разнимать. Тут мы слышим, как один из бьющих говорит: «Гета, ты ничего не знаешь, отойди!» С тех пор считается, что в каждой драке, происходящей на территории СССР, Гету знают (Смеется).

А этот дом, в котором мы беседуем? Его построила Гета. Она была соавтором проекта, прорабом, сама возила кирпичи, цемент и доски, вникала во все подробности канализационной системы. Я очень люблю этот дом.

«Замечательные режиссеры моего поколения болеют тем же, что и я. Возрастом»

Известия: Гамлет из вашего спектакля, поставленного в красноярском ТЮЗе, войдя в соприкосновение с жизнью, становился убийцей. Распадом личности и убийствами он платил за познание жизни. Чем вам пришлось за это заплатить?

Гинкас: О! Я не сошел с ума и не стал убийцей. Просто стал жестче, трезвее, может быть, мудрее. Я редко ободряюсь. Редко радуюсь. Почти никогда не веселюсь. Это не восполняется.

Какая плата была у Чехова? Трезвость. Поверьте, это чудовищная мука. У него в «Трех сестрах» есть фраза «Человек должен верить или искать веры, иначе жизнь его пуста». Чехов — не веровал. Он искал веру, но не находил. Жизнь его была пуста, и он ее так и осознавал.

И еще могу сказать: со временем приходит трезвое осознание границ. Границ жизни, таланта, своих возможностей.

Вот о чем я последнее время думаю. Мой папа был очень упорный, энергичный, но — ограниченный человек. Было видно, как он бьется о границы своих возможностей. Мама моя была очень талантлива. Красивая женщина и талантливая мать. В ней было что-то артистическое, но соображений — совсем немного, хотя она много читала. Я очень чувствую те границы, в которые генетически заключен от рождения. И завидую некоторым, может быть, не очень глубоким, но очень умным, но как бы «безграничным» талантам. Завидую монархизму, пушкинизму.

Ведь даже Достоевский — человек, проливающийся сквозь собственную ограниченность. Он продирался сквозь свое чудовищное косноязычие, которое потом стало его стилем. Сквозь мелодраматические ситуации, кровавые истории, истерических персонажей, чудовищную безвкусицу он прорывался к философской глубине.

Известия: Где проходит граница, за пределы которой вы не можете перейти?

Гинкас: Я знаю, почему и как я делаю спектакли.

Известия: Вы больше сами для себя не являетесь сюрпризом?

Гинкас: Редко. Вот стул (показывает на стул, на котором я сижу) — он делается из такой-то древесины. Если хотите ампиный, то нужно такое-то лекало. И будет шикарный, потрясающий стул, и многие скажут — это искусство, и заплатят огромные деньги. Но я хотел бы воскликнуть: «А давайте сделаем стул, а?» И делать его, как первый раз в жизни. Но этого уже не будет.

Известия: Но мы же знаем черновики Пушкина — там ремесла не меньше, чем вдохновения.

Гинкас: Серьезные, замечательные режиссеры моего поколения болеют тем же, что и я. Возрастом. И никуда не деться.

Известия: Куда ни повернись — везде ты сам?

Гинкас: Да. Впрочем и Пикассо, и Шагал последние двадцать, а то и тридцать лет, не желая того, тиражировали себя — рука против воли вела по привычному пути. Представляю, какую это вызывало у них муку. Я пытался поворачиваться и так и эдак, уйти от пьес, потом от прозы, потом от слов. Ставил «Полифонию мира», но, конечно, это по-прежнему был я. Поставил «Сны изгнания», спектакль по картинам Шагала, но и это — я. Выпустил сказку, «Золотой Петушок» — и это снова был я... Хотя... Я знаю, что и тут и там есть надувание чего-то нового. Но критика не замечает. Это огорчительно, хотя на самом деле не имеет значения. (Смеется)

Известия: Помните, когда в последний раз вы испытывали не то чтобы счастье — это неправильное слово, но — настоящую радость?

Гинкас: (долгая пауза) Моя полурусская внучка, умная, красивая, талантливая, которую я очень люблю и с которой почти не общаюсь ее отец, вдруг сказала: «Я хочу изучать иврит». Это была если не радость, то потрясение.

Известия: Мы говорили о переломе, который произошел в вашей жизни, когда вы поняли, что не замечали очень важных вещей, будучи заняты только искусством. Теперь наступил момент почти абсолютного знания своих возможностей и пределов, в котором, конечно, большая доля печали. Можете себе представить, каким будет следующий этап?

Гинкас: К сожалению, очень простым (Смеется). Все ясно... Человек рождается, озирается, начинает чувствовать и видеть — комар кусается, муха летает и жужжит, девочка верещит, женщина кормит ребенка. Потом человек взрослеет. Он видит — у женщины есть линии, и она хороша, а есть еще мужчины, которые тоже интересуются этой женщиной... Потом — угасание. Ну, комары кусаются, женщины кормят грудью, у них бывали линии когда-то, а у многих и сейчас есть, но это почти перестает иметь значение.

Известия: Ведь взамен этого человека что-то приобретает.

Гинкас: Да. Покой. А покой для молодого человека, желающего быть художником, — почти преступление. Полагается отрезать себе ухо, кашлять туберкулезом, сидеть в тюрьме (Смеется) Вот герой Табакова рубил шашкой мебель — и я очень его понимал. А когда долго проживешь в подвале и не то что сесть, а почти лечь не на что, то... А тебе уже больше сорока... А потом тебе уже пятьдесят и больше, а ты все живешь на каком-то скрипучем диване и понимаешь, что уже хочешь кресло, удобный диван, натертые полы. И не только не хочешь рубить шашкой мебель, но даже и передвигать ее! Чтобы было наконец что-то стабильное. Ведь жизнь зыбкая, особенно жизнь человека, который занимается театром, особенно лично моя...

Вот этот дом (стучит по стене) имеет объем, форму. И он, Бог даст, простоят лет пятьдесят, может, и больше. А то, что я сделал, — то ли это есть, то ли нет... Кому-то нравится, кому-то не очень, кому-то близко, кому-то нет... Я не спешу кому-то нравиться, но ведь и тебе самому так и непонятно — ты чего-то стоишь или нет? И до какой степени?.. А с возрастом может прийти покой. И многие вещи тебя перестают беспокоить, нервировать, доводить до безумия. Здесь, на этой даче, где мы с вами сидим, бываю потрясениями вечера. А если в пять утра выйти на улицу! Туман, чистый воздух, свет меняется в окне, и все время другая картина... Этого удовольствия я не знал раньше. Это связано с возрастом, но и с тем, что противоположно наказанию, о котором мы говорили. Это вознаграждение.

Гинкас: Таких «исходных событий» было два — то, о котором вы сказали, но оно существует в подсознании, поскольку я конкретно ничего не помню. И второе: когда мне было четырнадцать лет, у папы случился инфаркт. Я вдруг осознал тогда, что моего папы может не быть. Осознание того, что человек смертен, пришло рано. И очень серьезно. Мне нередко говорят, что в своих спектаклях я эту тему обойти не могу. Но мне очень трудно рассуждать о жизни, о себе, о людях, без учета этого, так сказать, обстоятельства.

Известия: Одно из самых сильных ощущений на ваших спектаклях — необходимость ясно сознавать, что жизнь включает в себя страдание, смерть и забвение. Эти стороны жизни показаны как естественные и неизбежные составляющие.

Гинкас: Я бы не стал употреблять слово «составляющие», но вы очень точно сказали. Жизнь, думаю, этой «составляющей» нет, — обманывать себя. Или быть слабым. Я, вслед за Чеховым, уважаю стойков, которые совсем не пессимисты, а, напротив, сильные, мужественные, я бы сказал, жизнелюбивые люди. Они способны любить жизнь, несмотря на то, что она из себя представляет.

Известия: Вы не хотите сделать спектакль о Холокосте?

Гинкас: Фильм «Список Шиндлера», который восхитил и прослезил полчеловечества, вызвал у меня негодование. Он весь, от начала до конца, — фальшив. Спекуляции на подобные темы я ненавижу.

«Я потратил пять лет, чтобы получить школу Товстоногова, и всю жизнь, чтобы от нее избавиться»

Известия: Вы недавно поехали в Магнитогорск, чтобы поддержать спектакль своего ученика. Можете себе представить, что ваш учитель Георгий Товстоногов приехал в другой город поддержать вас?

Гинкас: Товстоногов?! Товстоногов поехал в другой город на спектакль своего ученика? (Смеется) Ну если, скажем, в Австралию или в Америку — возможно, он бы собрался. Но, поскольку мы, пока наш учитель был жив, там не ставили, ни моих, ни Гетиных спектаклей, причем, как и постановки других своих учеников, Товстоногов никогда не видел.

Помню, Гета ставила в «Малом драмтеатре», как мы тогда называли нынешний «театр Европы». Товстоногову нужно было пройти минут десять пешком или проехать несколько минут на машине, чтобы попасть на ее спектакли... Он как-то ни разу не догадался это сделать. Спектакль «Вкус меда», поставленный там Яновской, прошел 750 раз, но Г.А., конечно, не приходило в голову посмотреть его. Мои же спектакли закрывались быстро, и мне хотелось бы думать, что он просто не успевал (Смеется).

Известия: Вы бы хотели обладать таким же характером, какой был у Товстоногова?

Гинкас: Хочется быть любимым — а такого человека не любят, хочется быть добрым — а такой человек не добр.

Впрочем, шучу. Товстоногова любили. Боялись и любили. Это был небожитель. Себя я никогда не чувствовал небожителем и всдержителем. И, пожалуй, никогда этого не хотел. Но! Более совершенной театральной машины, чем была в БДТ, я никогда и нигде не видел. Это была атмосфера колоссальной творческой сосредоточенности, замешенная на самоуважении театра, влюбленности актеров в Товстоногова и страха перед ним.

Известия: Вы с некоторым удовольствием произносите слово «страх».

Гинкас: Я говорю с восторгом, потому что это давало потрясающие результаты. Никто никого не попукал. Каждый делал свое дело с радостью и боязливой порицания, которое возможно только один раз. Второго раза уже не будет.

Известия: Вы почти армейскую ситуацию описываете.

Гинкас: Солдат — подневольный, а у Товстоногова подневольных не было.

Известия: Вы строите свою жизнь и творчество в некоторой полемике с Товстоноговым?

Гинкас: Творчески, мировоззренчески, если хотите, экономически он так сильно отличается от меня и во многом так далек, что строить свою жизнь в полемике с ним невозможно. Тем не менее я навечно с ним связан. Он — мой учитель, мой отец. Я хотел бы быть другим — блондином, высоким и голубоглазым. Но не могу — я похож на отца. Я потратил пять лет, чтобы получить школу Товстоногова, и потом всю свою жизнь, чтобы от нее избавиться (Смеется). Уже в начале обучения я хотел приобрести другие ноги, другой скелет... Меня потрясло, как сделаны спектакли Эфроса — там не было мышц, но был воздух. Но я не могу оторвать пуповину, которая связывает с родителем.

«Дом, в котором мы беседуем, построила Гета»

Известия: Расскажите о вашей встрече с Генриеттой Яновской.

Гинкас: Я поступал на режиссуру, и среди поступающих самоуверенных юношей были и барышни. Была одна хорошенькая, бойкая, энергичная девушка, которая, как мне казалось, годилась в мой этюд. Потом и она меня загляла в свое — я играл человека, который на Северном полюсе делает полостную операцию самому себе (Смеется). В газетах писали о таком диковинном случае. А набирали студентов три педагога: Товстоногов, Хомский и Суслович. И надо было писать, к кому ты поступаешь. Конечно, все хотели поступить к Товстоногову, но там ведь — самый большой конкурс, и если напишешь, что хочешь поступить к Товстоногову, Суслович не возьмет и Хомский не возьмет. А если напишешь, что хочешь поступить к Хомскому или Сусловичу — Товстоногов уж точно не возьмет! Генриетта и я тянули с этим до последнего. Нам казалось, что Суслович к нам хорошо относится.

Вдруг перед последним туром выходит из кабинета ассистент Товстоногова и говорит: «Гинкас и Яновская, подойдите сюда». Так впервые наши фамилии были объединены. Он сурово спросил, почему мы до сих пор не написали, к кому хотим поступить. И я, заикаясь, говорю: «Хотя бы к Товстоногову». Он: «Хотя бы???» — «Извините, я плохо говорю по-русски, я хотел сказать «Хотел бы» (Смеется)... А потом нам сообщили, что нас приняли.

И мы шли вечером по Фонтанке и говорили об искусстве, о театре, об Эрмитаже, из которого Гета не вылезала. (Если нужно было найти Гету, ее искали на третьем, французском этаже «Эрмитажа»).... Дошли до ее дома. Начался чудовищный ливень, и стало понятно, что мне уже не выйти. Ливень не прекратился, мосты начали разводить, а мы все говорили, говорили... И когда она заметила, что я от усталости перешел на литовский язык, предложила: «Кама, может быть, вы пойдете спать?» А это была коммуналка, в которой семье Яновских принадлежала одна комната. Она легла к маме, а мне постелила на своем диване. Было темно, она не зажигала свет, поскольку ее мама легла спать. И в темноте можно было услышать два женских голоса: «Кама, ну снимите брюки!» — «Нет, я так» — «Ну так же неудобно!» — «Нет, нет, я как-нибудь так».

Известия: К персонажу вашего спектакля, Гурову, любовь приходит как наказание.

Гинкас: Да. Любовь как испытание и наказание за то, что человек аж до сорока лет не знал ни жизни, ни себя, ни любви. Попросту не жил.

Известия: Вы порой так о себе не думаете?